

МАРИНА ЩЕРБАКОВА



«ВМЕСТО
ДНЕВНИКА —
ПИСЬМА К ВАМ»

(Из переписки Н.Н. Стрехова с
о. Иоанном Сквивским)

Марина Ивановна Щербакова — доктор филологических наук, заведует отделом русской классической литературы ИМЛИ РАН. Приоритеты в научных интересах: проблемы истории русской литературы XIX века, архивные разыскания, подготовка к печати текстов и комментирование. Этому посвящено значительное число журнальных и книжных публикаций.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Николай Николаевич Страхов (1828–1896) известен прежде всего как философ, публицист, литературный критик. Он был членом-корреспондентом Петербургской Академии наук, близким другом и адресатом Л.Н. Толстого, первым биографом Ф.М. Достоевского.

Основной корпус литературного наследия Н.Н. Стрехова составляют его главные труды: «Борьба с Западом в нашей литературе», «Мир как целое», «Философские очерки», «О вечных истинах. Мой спор о спиритизме», «Бедность нашей литературы. Критический и исторический очерк», «Из истории литературного нигилизма. 1861–1865».

Филологическая наука ценит Стрехова как автора статей о Л.Н. Толстом (в особенности о «Войне и мире»), статей о И.С. Тургеневе, А.С. Пушкине, Ф.И. Тютчеве, А.И. Герцене, А.А. Фете, Я.П. Полонском, А.Н. Майкове, И.С. Аксакове. Стрехов настолько глубоко и основательно знал литературу, что Академия наук, присуждая премии за литературные произведения, обращалась к нему как эксперту. Сохранились его блестящие отзывы в связи с присуждением Пушкинских премий.

Литературное наследие Стрехова — результат его 40-летнего творческого пути. В отечественной периодике — 23 журналах и газетах — вышло 254 публикации; прибавим к этому 15 серьезных работ в виде предисловий и статей в коллективных сборниках. Наконец, 16 отдельно изданных трудов и 6 прижизненных переизданий.

Существенно дополняют публицистические и литературно-критические работы Стрехова его письма к Л.Н. Толстому, Ф.М. Достоевскому, Н.Я. Данилевскому, К.Н. Леонтьеву, И.С. Аксакову, В.В. Розанову, В.С. Соловьеву, Н.Я. Гроту, П.Д. Голохвастову, Э.Л. Радлову, Д.В. и С.В. Аверкиевым и др.

Известно, что Стрехов как критик и философ всегда занимал устойчиво консервативную позицию. В искусстве наиболее важным считал внимание к духовно-нравственным коллизиям общества и к человеку. Но вок-



Портрет Н.Н. Страхова, выполненный Т.Л. Толстой в 1880-х гг.

униатским архимандритом Почаевского монастыря. «Чудная, по-моему, переписка Н.Н. Страхова с о. Иоанном Скивским представляет собой начало обширного автобиографического материала Н.Н., имеющегося у меня, — писал он Э.Л. Радлову. — Я был бы несказанно рад, если бы переписка эта была напечатана. Предисловие к переписке есть, оно составлено мной». Но публикация не состоялась.

В переписке с о. Иоанном Скивским — подробности студенческой биографии Н.Н. Страхова, тех решающих переломных лет, когда складывались основы характера, шло энергичное становление его личности и духовной индивидуальности. «В этих письмах вся моя история, бедная и пустая, история всегдашних стремлений и бесплодной деятельности», — писал Н.Н. Страхов. В письмах о. Иоанна — любовь к подопечному, сердечная забота о нем и поучительные наставления.

Материал сохранился в виде копий 42 писем — 17 Страхова и 25 о. Иоанна, которые И.П. Матченко подготовил для печати: с комментариями и переводом писем о. Иоанна, написанных большей частью по-французски.

* * *

Н.Н. Страхов родился 17 октября 1828 г. в Белгороде. (На могильном памятнике ошибочно высечено 16 октября.) Следуя православной традиции, в семейном кругу отмечали его именины — на Николу зимнего, 19 (6) декабря. День и даже год своего рождения он узнал лишь осенью 1844 г. «Чудеса да и только, — записал в дневнике. — Недавно я помолодел одним годом. С декабря прошлого года я считал себе 16 полных лет: я считал годы от именин до именин, потому что не знал дня моего рождения. Приезжаю в Петербург, здесь нахожу мою тетеньку Катерину Ивановну. Однажды она стала удивляться тому, что я считаю себе шестнадцать лет, тогда как по ее расчетам мне только 15. Считали, рассчитывали, и вышло, что, действительно, мне только 15 лет. Впрочем, я могу уже считать себе и 16, так как мое рождение было в октябре, по сло-

руг его фигуры всегда бывали противоречивые оценки и недоразумения.

Между тем очень важны истоки, а о них, как выясняется, знали мало. После смерти Страхова И.П. Матченко, муж его племянницы и единственной наследницы, занялся разбором огромного архива. Публицистическая и литературно-критическая часть была издана им полностью. Наиболее ценные в историко-культурном отношении письма — к Л.Н. Толстому, Н.Я. Данилевскому, В.В. Розанову, В.С. Соловьеву, Н.Я. Гроту также были опубликованы.

В числе других эпистолярных материалов И.П. Матченко подготовил в 1908 г. и переписку Н.Н. Страхова с о. Иоанном Скивским, ссыльным



Н.Н. Страхов. Автопортрет. Конец 1840-х — начало 1850-х гг.

вам тетеньки. Но все же приятно сбросить с себя один лишний годок; я ужасно боюсь быть стариком».

О своем происхождении свидетельствовал: «Я родился от русской крови. Мой отец — духовного звания, а духовные наши — коренные русские. Но мать моего отца была гречанка; но я родился от малороссиянки, которой дед был родовой казак, а мать из польского семейства. Сколько разнообразности влияний!»

Начальное образование получил под руководством отца, Николая Петровича Страхова, протоиерея, магистра богословия, профессора словесности в Белгородской семинарии. Ярким детским воспоминанием остались тетрадь, сшитая отцом из четвертушек бумаги шелковой ниткой, и книги в шкафу за стеклом; среди них — «Людмила» Жуковского: «Долго потом надо мною звучали эти сладкозвучные стихи... Быть может, эта ранняя привычка к стихам и была причиной моей склонности к ним, если уж я совсем не поэт».

После смерти отца в 1834 г. воспитание мальчика взял на себя его дядя по матери — о. Нафанаил Савченко. Бакалавр Киевской академии (в миру Николай Савченко), он был преподавателем Белгородской семинарии; овдовев через год после женитьбы, принял монашество и занимал должности инспектора Тверской, а затем ректора Каменец-Подольской и Костромской семинарий, где, начиная с 1839 г., Страхов обучался на отделении риторики, позже — философии.

Костромская семинария помещалась в Богоявленском монастыре. Братию этого старинного, основанного в XV веке, но теперь бедного и почти опустевшего монастыря составляли не более восьми монахов. «Стены его были облуплены, крыши по местам оборваны; но это были высокие крепостные стены, на которые можно было всходить, с башнями по углам, с зубцами и бойницами по всему верхнему краю. Везде были признаки старины: тесная соборная церковь с темными образами, длинные пушки, лежавшие кучей под нижним открытым сводом, колокола со старинными надписями, — таким запечатлел облик монастыря в своих «Воспоминаниях» Н.Н. Страхов. — Пусть все это было бедно, лениво, слабо; но все вместе имело совершенно определенный смысл и характер, на всем лежала печать своеобразной жизни. Самую скудную жизнь, если она, как подобает жизни, имеет внутреннюю цельность и своеобразие, нужно предпочесть самому богатому накоплению жизненных элементов, если они органически не связаны и не подчинены одному общему началу».

Особенно сблизился Страхов с о. Иоанном Скивским. Образованный, сведущий и симпатичный старик, о. Иоанн пользовался в Костроме расположением местного православного духовенства и семинарского начальства и даже репетировал воспитанников духовной семинарии. На Николая Страхова имел огромное влияние: занимался с ним математикой, латынью и вообще руководил его научными занятиями. Практическим знанием французского языка Страхов обязан исключительно о. Иоанну.

Очень живая любовь к учености и глубокомыслию, «но, увы, любовь почти совершенно платоническая, только издали восхищающаяся своим предметом», господствовала среди пяти-шести сотен подростков-учащихся Костромской семинарии. «Уважение к уму и науке было величайшее; самолюбия на этом поприще разгорались и соперничали беспрестанно; мы принимались умствовать и спорить при всяком удобном поводе; писались иногда стихи, рассуждения, передавались рассказы об удивительных подвигах ума, совершавшихся архиереями, в академиях и т.д.»

При таких обстоятельствах и условиях Страхов получил не только первоначальное воспитание и образование, но и школу отношения к жизни, окружающему миру, науке и ее учениям, что во многом определило выбор, смысл и цель дальнейшей деятельности.

В 1843 г. состоялся перевод о. Нафанаила в сан архимандрита в Петербург, где в 1845 г. он был посвящен в сан епископа Ревельского, vicария

Петербургского; позже занимал кафедры епископа Полтавского, Архангельского и архиепископа Черниговского. Владыка Нафанаил отличался представительной внешностью, считался выдающимся иерархом по уму и ораторскому таланту. Один англичанин, познакомившийся с ним в Архангельске, писал в путевых записках, что был удивлен, встретивши на дальнем севере такого просвещенного архиерея. Умер владыка Нафанаил в Чернигове в 1875 г. Его похоронили за монастырский счет, потому что никакого состояния после себя он не оставил.

В 1844 г. в Петербург прибыл и Страхов — для определения в высшее учебное заведение. Тогда же началась его переписка с о. Иоанном Сквиским.

Провинциальный юноша, мечтающий о столице, университете, благосклонной фортуны и, наконец, являющийся на главную арену деятельности, в Петербург, — этот широко бытовавший в литературе середины XIX века сюжет был накрепко связан с жизнью поколения, к которому принадлежал и Страхов.

Первые петербургские впечатления оказались противоречивыми: «Я обманулся в Петербурге. Я думал, что он вовсе не похож на те города, которые я доселе видел, тогда как в нем только все гораздо огромное и великолепнее. С самого начала нас повели по Невскому проспекту из Невского монастыря. Я не верил глазам своим. Так это-то тот великолепный Невский, о котором мне прожужжали уши все газеты и журналы. Наконец строение пошло лучше и лучше, начался настоящий Невский проспект. Вот Аничкин мост; вот Казанский собор. Но все это не поражало меня никаким особенным удивлением. Вот что значит иметь о чем-либо преувеличенное понятие! Через несколько дней я пришел гулять по Неве, прелестной Неве, начиная от Воскресенского моста. Видел богатые здания, видел дворец, Александровскую колонну, Летний сад, его решетку, собор Исаакья, Невский проспект с другого конца, все это, признаюсь, было очень занимательно для меня, но не удивило, не поражало меня. Мне очень хочется еще походить по Невскому; я очень люблю его».

Конечно, в юношеских письмах Страхова еще много присущих молодости порывов, увлеченности, задора. Нетрудно заметить, что юноша находился под сильным влиянием старинной сентиментальной традиции, так удобно воплощавшейся в эпистолярной форме. Он внимателен к своим душевным исканиям, анализирует противоречия собственной природы и окружающего мира.

Существенно важнее внешних впечатлений для юноши, начавшего свою умственную жизнь в глухой провинции, оказалось другое. Неверующих и вольнодумцев в Костромской семинарии не было; ученики росли с твердым убеждением, что «отрицание религии есть крайняя уродливость, чрезвычайно редко встречающаяся в роде человеческом». В знаменитом же коридоре Петербургского университета он услышал «рассуждения о том, что вера в Бога есть непростительная умственная слабость», «похвалы системе Фурье и уверения в ее непременно осуществлении», а «мелкая критика религиозных понятий и существующего порядка была ежедневным явлением».

Позднее, в связи с воспоминаниями юности, Страхов заметил: «По истине, религия, если взять ее со стороны чувства и понятий, составляет действительно доказательство благородства души человеческой, и если бы мы вообразили себе человечество без религии, то нам пришлось бы его понизить почти до степени животных».

Вольнодумство студенческой среды распространило свое влияние и на Страхова. Товарищи объяснили новичку направления журналов, растолковали, как следует понимать суждения и речи более зрелых людей, от которых сами научились своему вольнодумству. «Таким образом, — вспоминал Страхов, — уже тогда я вполне познакомился с этою сокровенною мудростью, и, когда, спустя десять или более лет, она стала все ясней и громче высказываться в литературе, она уже ничуть не была для

меня новостью. Говорю, конечно, о самом принципе этого направления, о немногосложной формуле отрицания».

Как известно, позже Страхов повел открытую борьбу с нигилизмом, блистательно доказывая, что это не учение или система, а лишь форма философского невежества.

Но сколь бы активной ни была пропаганда в студенческой среде новых идей, чувство Родины было в юноше Страхове неколебимо. «В нашем глухом монастыре мы росли, можно сказать, как дети России. Не было сомнения, не было самой возможности сомнения в том, что она нас породила и питает, что мы готовимся ей служить и должны оказывать ей всякий страх и всякую любовь».

Вера в свое Отечество, русский народ, русское творчество, воспитанная в бедной костромской семинарии, и неверие в Запад стали «закваской» как жизни, так и всего творчества Страхова, считавшего, что «настоящий глубокий источник патриотизма есть преданность, уважение, любовь — нормальные чувства человека, растущего в естественном единении со своим народом».

Преобразование провинциального семинариста в столичного университетского студента многое изменило в бытовом, жизненном укладе Страхова. В Петербурге он поселился у дяди, архимандрита Нафанаила, в Александро-Невской лавре. Порядок и аккуратность монастырской жизни, хорошо усвоенные в Костроме, сохранялись и здесь — никаких комфорта, удобств, удовольствий. Но соблазны большого города, помноженные на молодые годы, шли вразрез с монастырским уставом. Попечение дяди и его строгое руководство привели к конфликту с племянником, который формулировал свои обвинения с юношеским максимализмом: «Смелость мысли, сила души уничтожена навсегда!» Остроту отношений пытались смягчить родственники: «Не рвись на волю, гляди, чтоб теперешняя *цель* не показалась после сахарным конфетом! Впрочем, если есть кондиция хорошая, ты будешь сам хорош всегда, не увлечешься примерами *соблазна*, ступай с Богом, и дядя на это ни слова».

Шло энергичное становление души, развитие личности — с присутствиями возрасту скептицизмом и самоуверенностью, когда за тщеславным самолюбием прятались робость и неопытность.

«Ничто так не облагораживает человека, как обхождение с дамами: это — аксиома»; «Изящные люди не образуются, а рождаются, как и поэты»; «Недавно я придумал план, который я считаю умным, потому что сам его придумал, а ведь нужно же, чтобы все мы считали свои планы умными. Я задумал — учиться без книг» — подобные суждения в письмах Страхова очень напоминают страницы юношеского дневника его ровесника — Льва Толстого.

Неудивительно, что и с героем автобиографической трилогии «Детство. Отрочество. Юность» Николенькой Иртеньевым юношу Страхова сближает гамма чувств и душевных движений, непростой для каждого из них путь от склонности к умствованию и гордости к просветленности, обретению себя, к раскаянию и моральному порыву. Также и ситуация с поваром Николаем, подробно изложенная в письмах к о. Иоанну Скивскому, очень близка описанному в «Отрочестве» реальному случаю, о котором Толстой вспоминал как о причине сохранившегося на всю жизнь отвращения ко всякого рода насилию. «Ничто так много не способствовало к происшедшему во мне моральному перевороту», — писал он в черновиках повести.

1846 г., давший Страхову «опытности больше, чем все предыдущие», стал переломным в его судьбе. В середине июля затянувшийся конфликт с дядей подтолкнул к увольнению из университета и отъезду в Белгород. Возвращение в Петербург состоялось осенью. Жизнь начала складываться по-новому.

Намерение Страхова посвятить себя академической деятельности стало особенно заметно и, главное, начало приобретать крепкое основание. Отчетливо проявилась едва ли не врожденная культура самовос-

питания, работы над собой, научного труда. Конспекты лекций и записки Страхова, особенно по естествознанию, дошли до нас в самом аккуратном виде.

В биографическом очерке о Н.Н. Страхове Б.В. Никольский заметил одну из особенностей его натуры: «Страхов не был современником своего века. В его лице как будто ожил для нашего легковесного, поверхностного и утонченного столетия какой-нибудь ученый мних XIV—XV века, простодушный, положительный и серьезный. Его добросовестное, пытлиное отношение к жизни и науке является теперь чуть ли не наивностью; но эта наивность и есть самобытность, которая восхищает нас в характерах и умах древности и которой мы сами так неуловимо лишились. Такие умы, как он, — их можно пересчитать по пальцам, — те немногие праведники, которые спасут наш XIX век от полного осуждения историей».

Переписка Страхова с о. Иоанном Скивским продлилась пять лет. В июне 1847 г. о. Иоанн Скивский, по просьбе Страхова, переслал ему его письма. Остальные, написанные позже, не сохранились. Неизвестно также, и где находятся подлинники писем, переплетенные Страховым в особую тетрадь. Существуют только их копии.

Чтобы не оставлять занятий естествознанием, Страхов в январе 1848 г. перешел из университета на казенный счет в Главный педагогический институт, который переживал самую блестящую пору: возглавлял институт И.И. Давыдов, а в числе профессоров состояли выдающиеся ученые — Ф.Ф. Брандт, М.В. Остроградский, Савич, Шиховский и др. Курс наук в институте совмещал предметы математического и естественного факультетов.

Много лет спустя Страхов признавался в парадоксе: естественные науки не составляли его коренного, задушевного призвания; занявшись ими, он хотел выйти из тех сомнений, в которые повергли его разногласия мнимых выводов естествознания с его политическими и религиозными воззрениями. Тем не менее в этой области он сыграл «такую многозначительную и богатую неисчислимыми последствиями роль, какая достается на долю только первоклассным умам человечества» (Б.В. Никольский).

Естествознание привело Страхова к философии как теории знания. Он пошел от данных точной науки к высшим началам философии. Но при этом не было разлада мысли с религией, теорией духа. Не было и замены религиозных воззрений философскими. Впоследствии это существование помогло ему сформироваться как критику-объективисту. Не примкнув ни к одной положительной системе, Страхов находился в постоянном их поиске.

Уже в студенческие годы заметно его стремление выйти за пределы ограниченного объема естествознания, преодолеть односторонность науки, узость области частного знания, чтобы утвердить идею всеобъемлющего просвещения. В этом направлении формировались этические и религиозные воззрения Страхова.

Широта интересов и любознательность юноши отразились в выборе книг, которые он начал собирать еще в Костроме. С годами библиотека Страхова превратилась в уникальное собрание из более чем 12 000 томов, поражающее систематичностью, обдуманностью и разнообразием подбора.

В мае 1848 года о. Иоанна перевели в Киев, где он и умер через полтора года; похоронен на Байковом кладбище. На могиле его поставили скромный каменный памятник с надписью: «Ксендз Иоанн Скивский, архимандрит Почаевского монастыря, Базилианского ордена. Умер 28 января 1850 г. Жил 75 лет».

Лишившись важного для него духовного общения, Страхов больше внимания стал уделять художественно-автобиографическим запискам. В студенческие годы им созданы небольшие фрагменты: «Опыты», «Под арестом», «Записки Демона», «Груша и Стратопович», «По праздникам», «Последний год студенчества». Вместе с дневниками и письмами к

о. Иоанну Скивскому они оказались великолепной школой письма, началом выработки собственного стиля и поиска наиболее близкой его философскому складу формы изложения.

Поступив в Главный педагогический институт на казенный счет, Страхов обязал себя восьмилетней элементарно-педагогической службой. Успешно окончив институт в 1851 г., он тогда же получил место преподавателя в Одесской гимназии.

Друзья-сверстники видели в нем воплощение своих стремлений: «Счастливы ты! Ты оканчиваешь курс превосходно, имеешь много в настоящем, еще больше видишь для себя в будущем, получаешь скоро место и жалованье и делаешься владыкою и себя, и науки... ты красавец, литератор и поэт».

До авторского дебюта и начала плодотворной сорокалетней публицистической деятельности Н.Н. Страхова оставалось шесть лет.

* * *

Н.Н. Страхов — о. Иоанну Скивскому
Ноябрь 1844

Любезнейший отец Иоанн!

Не знаю, с чего начать мне письмо к вам; начну с того, что всего более занимает как меня, так и (я уверен) вас. О. Ректор уже начал хлопотать о поступлении моем в университет. <...> Будущих трудов я не боюсь; мне кажется, сколько я могу еще сделать! Но я боюсь, что меня не допустят к этим трудам.

Боже мой, как бесплодно провел я эти три месяца. Дома я почти ничего не делал, потом приготавливался к отъезду, далее 10 дней ехал; здесь — сначала смотрел и удивлялся Петербургу, потом бросался на то и на другое без руководителя, и когда, кажется, должно бы больше всего сделать, как мало сделал я! Мои книги остались в Костроме, здесь я не много нашел нужных мне; здесь не нашел я также ни спокойствия, ни времени, ни места. Как часто и в каком прелестном виде представляются мне ваши уроки; вначале, когда я летом ходил к вам на самый конец корпуса и, или в саду, или в келье, твердил: *Prenez livre et venez lire*, — потом, когда зимою при огне бегал к вам по морозу, когда летом ходил к вам на геометрию и когда еще так недавно утром рано приходил к вам окончить ее. И как я привык у вас к французскому языку! Немецкий как-то забывчив, особенно теперь, когда я так долго не занимался им; но знание французского, кажется, твердо укоренено во мне. Недавно я даже начал заниматься итальянским языком. <...>

Описать ли вам образ нашей жизни? Мы живем в четырех комнатах на третьем этаже — 8 человек; встаем обыкновенно в 9 часов и сейчас пьем чай. В 12 часов подают кофе. В 3 часа обедаем. Потом, кроме нас, все спят до 6 часов. В 8-м часу пьем чай, потом играем в карты, закусьваем, вместе ужина, и в 11 ложимся спать.

Н.Н. Страхов — о. Иоанну Скивскому
13 января 1845

О. Ректор <...> бросил прежний план и назначил новый. Он расположил так: я должен поступить в университет *вольнотслушающим*, т.е. не буду носить мундира и вообще формы, не буду сдавать теперь экзамена и не буду зваться студентом университета. Но я получаю право слушать лекции и должен, по крайней мере, за год до экзамена на кандидата сдать приемный экзамен. По окончании курса я получаю те же права, как и студенты, если выдержу на кандидата, а если выдержу только на студента, то получаю только право быть перворазрядным чиновником и служить наравне с дворянами, но не получаю класса. Если же я захочу, то могу,

сдавши экзамен приемный, поступить в студенты и даже на казну, как и хочет сделать о. Ректор. Он назначает мне срок до августа, с тем чтобы я в это время или приготовился к приемному экзамену и остался в том же курсе, или вместе выдержал бы экзамен и на втором курсе и перешел бы в него. Без всякого сомнения, я постараюсь исполнить последнее. В августе я надеюсь перейти на казну, и мне хотелось бы даже сократить следующие за этим три года в два года. Сначала о. Ректор хотел также, чтобы я служил, ходя в университет. Здесь есть таких примеров довольно. На службу я должен бы был ходить один только день в неделю; но потом он оставил это, разочтя, что служба будет мне развлечением в занятиях.

Не удивляйтесь, что я так смело сужу об университете. Я уже так свыкся с мыслью об нем, так много видел ходящих в университет и сравнивал их познания с моими, что теперь уже смело думаю об этом. Может быть — это и оттого, что я избавляюсь теперь от экзамена и имею больше времени для приготовления к нему.

Итак, вы напрасно надписали на конверте — *студенту университета*. Еще долго, шесть месяцев я буду зваться только *вольнотрушующим университетом*. <...>

Когда поступлю в университет, то на другой год стану учиться английскому языку. Теперь не могу, потому что уже начаты лекции шесть месяцев, а мне гораздо удобнее будет начать сначала. Английский язык, я думаю, будет мне очень полезен — особенно, когда я поеду в Индию. А я думаю непременно ехать туда.

Вчера я был в университете и слушал первую лекцию. Впечатление, какое она произвела на меня, странно. Я не разочаровался. Я слушал Куторгу и Устрялова. Куторга читает чудесно, но Устрялов!.. Я удивился, когда увидел и услышал этого писателя. Так близко! Первая лекция была из естественной истории, вторая из русской. Я записывал первую; но я совсем не умею записывать и потому хочу сравнить свои записки с чужими и посмотреть, как я должен записывать. Теперь я переписываю ботанику. Сегодня пойду в университет в полдень. Я позабыл сказать вам, что я слушал еще французскую лекцию, но ничего не понял: произношение так неясно, что я совсем не разбираю слов. <...>

Я еще и до сих пор не сказал вам, по какому факультету я иду. Я иду по камеральному; избрал я этот факультет потому, что он включает в себе более разнообразия: в нем преподаются зоология, ботаника и минералогия, русская и всеобщая история, агрономия и технология, предметы занимательные, и еще некоторые законы, например, государственные учреждения. Впрочем, на следующий год надеюсь найти время ходить и на другие факультеты, особенно на физику и астрономию. <...>

Мне потому теперь лучше поступить вольнотрушующим, что я могу поступить теперь же, а если бы я хотел поступить студентом, то должен поступить в августе. Я уже взял лекций и переписал их до 15 листов; больше не могу достать. Вчера я взял у о. Ректора немецкий лексикон. Он такую изывил готовность доставлять мне книги, что я чрезвычайно этому обрадовался.

О. Иоанн Сквивский — Н.Н. Страхову

23 января 1845

По моему мнению, вы избрали факультет не по вашим силам. Агрономия, ботаника более нужны помещикам. <...> Вам следует избрать предметы, которые не все с успехом могут изучать, как право или законы, история, математика и проч.

Н.Н. Страхов — о. Иоанну Сквивскому

4 апреля 1845

Дела теперь довольно, так что нет вовсе времени заниматься ни книгами, ни французским языком. Все время занимает у меня переписка лекций. Впрочем, я хожу на французские уроки и понимаю, хотя не много. Особенно меня

затрудняет слитный выговор французов. Но едва ли я попаду в профессора университета, хотя бы мне этого и хотелось. Я вижу теперь, что способности мои в некоторых отношениях очень ограничены. Недавно я размышлял о себе и составил понятие о моем характере, об идее моей жизни. Я думаю, что моя душа не имеет сил огромных и способностей великих, но что эта душа — мягкая, впечатлительная, восковая. Наука оказала на меня первое впечатление, и я отлился по ее форме — так же, как отлился бы и по всякой другой; но посмотрите: это воск, а не медь и не мрамор. Этим характером я объясняю и мои стихи, и мое изучение языков, и мою ревность в науках. <...>

Я сам недоволен выбором факультета; это избрание произошло от нерешимости. Никто не хотел и слышать о моем желании идти по ученой части. Все говорили, что это нехорошо, и все только и думали, что о гражданской службе, которой я совсем не терплю. Я бросился в такой факультет, где было ни то, ни сё; между тем, переменить факультет нельзя, разве начинать снова. Вы предлагаете мне изучать законы. Но я питаю к ним решительное отвращение. И если меня не примут во второй курс, то я перейду на филологический или математический: на филологический, потому что отсюда можно поехать (за границу) при посольстве, а на математический — по моему расположению к этим наукам. Но, ей-богу, мне не хочется снова поступать на первый курс, потому что первокурсные студенты — это то же, что в семинарии словесники, а кому же хочется быть словесником? Вы советуете еще — серединки держаться; но ведь на серединке не уедешь за границу. Быть любимым от начальства — мало возможности, потому что студенты с профессорами не имеют почти никаких сношений. Впрочем, если я поступлю на казну, то это будет легче. Однако и казенные студенты имеют здесь такое же отношение к своекоштным, как у нас в Костроме бурсаки к квартирным. Так же они всегда нечесаны, ленивы, читают книги в аудитории и проч. <...>

Мне очень нравятся университетские лекции. Вообще, этот новый для меня способ преподавания кажется мне чрезвычайно хорошим. И мне ничто бы так приятно не было, как быть на лекции, если бы не нужно было записывать ее в аудитории, а потом переписывать. Это занимает у меня много времени, тем более, что я хочу быть готовым к экзамену в мае, но, кажется, не буду держать его. Если я выдержу дополнительный экзамен, то мне останется только три года быть в университете; но я готов не только шесть, как вы говорите, но и десять лет учиться.

Не беспокойтесь о моем здоровье; я не могу так прилежно заниматься, чтобы здоровье мое ослабело, потому что я занимаюсь охотно, а не по принуждению. Кроме того, и для прогулок у меня времени довольно: я гуляю каждый день часа полтора, когда иду в университет и когда возвращаюсь оттуда. И притом такой чудесной дорогой я должен проходить! Я всегда иду по Невскому проспекту, который, как вы знаете, есть самая широкая, самая великолепная улица в Петербурге, потом перехожу чрез Исаакиевскую или Дворцовую площадь и вижу дворец, колонну Александровскую, иду по прекрасному Адмиралтейскому бульвару и, наконец, перехожу Неву чрез Исаакиевский мост. Самая приятная прогулка! <...>

О. Иоанн Сквивский — Н.Н. Страхову

8 мая 1845

Не полезно молодому человеку делать планы дальнейшей жизни. Провидение управляет всем; один маленький случай, одно приключение испортит все проекты. Лучше — *возверзи на Господа печаль твою и той ты пропитает...* Учиться и быть праведным — вот наше дело.

Н.Н. Страхов — о. Иоанну Сквивскому

14 ноября 1845

Я с таким нетерпением ожидаю снега и, следовательно, книг, потому что прибытие их составит один из важных переворотов в моей настоящей

жизни. Другие перевороты суть: 1) я надел форменную одежду и 2) надеюсь получить 5 руб. из казны в месяц. Быть может, вы не угадаете всей важности этих переворотов, и я вам объясню это живейшим образом.

Во-первых, прибытие книг будет началом моих занятий. В числе их мало книг, необходимых мне для занятий (всего один латинский лексикон), но все же в них я найду противодействие моей лени. Здесь я нахожу одно затруднение; положим, я начал заниматься, но какой метод избрать мне? Все, что я приобрел доселе, не имеет ни малейшего запаха метода. Но, положим, метода не нужно, я не слишком о нем забочусь; но как мне прикажете учиться? т.е. как удержать в памяти то, что вижу пред глазами в этих книгах — то толстых, то тоненьких? Доселе я учился вот как: 1) Или долбил слово в слово. От этого мало толку. Правда, я знал то, что долбил по нескольку раз, но часто и не знал. Кроме того, этот способ учения ничем не лучше других и притом труднее. Кто захочет долбить? 2) В языках я шел обыкновенно медленно, как только можно, изучая основания. Потом я начинал переводить строчек по десяти и переводил до бесконечности, а толку все было мало; я знал мало слов и скоро забывал; я сыпал песок в решето постоянно и аккуратно, а песок также постоянно и аккуратно высыпался. Это ребячество продолжалось долго. 3) Я читал ученые статьи, повести, все, все. Это очень мало действовало. Я, правда, более и более обогащался познаниями, но в этом случае песок сыпался еще стремительнее, чем большими горстями я кидал его. Я много читал, но помню $\frac{1}{10}$ долю того, что я читал и чего не читал, а из этой $\frac{1}{10}$ доли помню $\frac{1}{100}$ из того, что я читал. Следовательно, я помню только $\frac{1}{1000}$ из всего моего чтения. Очень утешительный результат! Но это, может быть, зависит от рассеянности, от неглубокости мыслей, от бессвязия их и проч. Следовательно, все это можно поправить. 4) Я читал книги учебные. Я читал их раз по десяти, так что помню почти все фразы; но этот способ так глуп, так утомителен, что об нем нечего и говорить. 5) Я употреблял способ ученья самый лучший, как мне казалось, перед моим экзаменом: именно я прочитывал, что нужно, и потом повторял своими словами. Это хорошо, но очень скучно, т.е. смахивает на долбление.

Итак, ни один из способов, мною употребляемых, никуда не годится. Из этого следует: 1) В языках я должен идти как можно быстрее, т.е. при первой возможности переводить, я должен переводить много и долго и т.д. 2) Во всем остальном я должен читать книги, как можно внимательнее и углубленнее, перечитывать иногда, *изучать* книги; но для этого выбирать книги достойные и притом заниматься одним и тем же предметом дольше, например — одну неделю архитектурю, другую живописью и т.д. Кроме того, внимательно слушать лекции, если будут деньги на извозчика. Вы видите, что я наилучшим образом приготавливаюсь быть человеком занимающимся. Остальные планы после рассказа.

Второй переворот, по моему мнению, есть *форма*. Я никогда не предполагал, сколько важности заключается в этом внешнем преобразовании. Я сам не столько радуюсь своему костюму, сколько другие. Знакомые улыбаются и с удивлением посматривают на меня; приветствия громче, обхождение вежливее; кто прежде не кланялся, теперь пожимает руку. Одним словом, теперь я, как *прекрасный молодой человек* (слог повестей), могу явиться куда угодно, могу говорить смело и смеяться громко; теперь только я стал настоящим студентом со всеми его правами и льготами. Нужно этим воспользоваться; но монастырь... О, Боже! неужели я не вырвусь никогда из монастыря? Непременно, непременно!.. Но как?.. Скорее, скорее! Между тем теперь должен я пользоваться только тем клочком свободы, который у меня есть, да и для этого необходимы деньги, а именно — на извозчика. И эти-то деньги я надеюсь получить из казны. О радость!.. Представьте себе (как говорит проф. Куторга), что я встаю утром, когда еще темно, пью чай, просматривая тогда же Вергилия, надеваю треугольную шляпу, закутываюсь в шинель и выхожу... «Извозчик!» —

и снег скрипит под полозьями саней. Кругом мелькают потухающие фонари... А после... нет! уж я не расскажу, что будет после. Я могу не быть в монастыре от восьми часов утра до $4\frac{1}{2}$ по полудни. Вам кажется много; но надобно исключить 3 часа туда и назад, 3 часа на лекции и, кроме того, я никак не соберусь к 8-ми часам и всегда выйду в 9. И все это уничтожится при деньгах. Три часа ходьбы сократится в $\frac{3}{4}$ езды, зато лекции увеличатся непомерно, и я в 9 часов всегда буду в университете. Это представляет самую завлекательную картину.

Итак, вы видите, что мне доставила форма и что доставят костромские книги и казенные деньги. Но я скоро надеюсь найти источник своих собственных денег. Это — уроки математики по 2 в неделю и по $1\frac{1}{2}$ часа каждый; они доставят мне рублей 7-8 в неделю, т.е. 30-35 р. в месяц. Я потеряю 3 часа в неделю, а выиграю $3 \times 6 - 6 = 12$ ч. Следовательно, у меня в барышах будет 9 ч. в неделю. Да это прелесть! Я заживу бароном. Кроме того, я тут приобрету знакомство, может быть, хорошее. Я теперь присмирел только потому, что забылся; но при одном воспоминании кровь так и кипит! И в эти минуты я не хочу и смотреть на книги. К цели, к цели!.. А книги только средства. И Боже мой! как медленны, как скучны эти книги! И представить человека, который целый век над книгами и обратил средство в цель — фи! это ужасно!

Недавно я придумал план, который считаю умным, потому что сам его придумал; а ведь нужно же, чтобы все мы считали свои планы умными. Я задумал учиться без книг. Это очень легко. Я буду слушать прилежно самые разнообразные лекции, буду иногда заниматься с товарищами, читать у них книги, но у самого меня не должно быть ни одной книги. Я оставляю себе только тоненькую книжку Горация. Ведь он был оригинальнейший поэт Рима, самый разнообразный и веселый из всех поэтов и, главное, самый короткий; его всегда можно носить с собой. Другие поэты написали целые томы, зато они не так окончены. По-гречески я еще не знаю и не понимаю Гомера. Итак, при мне останется один мой друг Гораций, которого вы мне объясняли. Я его люблю именно потому. Но что же я буду делать с другими книгами, которых у меня довольно? Я думаю дельные книги прочесть и затем подарить их или продать, образцовые изучить и — тоже, плохие не читать и продать, так как дарить их нельзя. Отсюда исключаются книги Лагарпа, которые вы мне подарили на память. Доколе я буду вас помнить, они будут при мне; следовательно, они могут быть проданы только после моей смерти.

Но, ради Бога, как мне избавиться от множества классиков, которых я накупил? Смотрите, у меня есть: весь Тит Ливий, речи Цицерона, письма Цицерона, весь Цезарь, Овидий, Вергилий, Гораций, Корнелий Непот, Тацит, Софокл, Одиссея. Когда все это выучить? Притом я боюсь, чтобы от занятий не потерять дара писать стихи, который у меня так развился от лени, что если бы я долее ленился, я верно бы начал импровизировать. Я нашел, что ничто так не развивает философии и поэзии, как лень. Оттого у греков и римлян было так много философов и поэтов, притом отличных. Оттого Гораций, величайший ленивец, есть вместе и величайший поэт после Гомера, который был еще ленивее. Оттого перипатетики — великие философы: они прогуливались, то есть гуляли и ничего не делали. Оттого ни один великий ученый не есть вместе и великий поэт. Но я, знаете, что сделаю? Я буду летом лениться и писать стихи; этот дар может возвращаться при лености; зимою же я буду ученый... Летом и больше вдохновения — леса, горы, трава, цветы, вода и проч. Тогда вы будете очень благодарны мне: я буду, вероятно, писать к вам уже маленькие письма, а не длинные, которые, верно, успели сильно наскучить. Извините, ради Бога, за них; скажите, кому же мне писать? Кому передавать мои мысли и чувства? А мои письма потому и скучны, что я в них толкую только об одном себе, как будто я великая цаца, как говорит дядюшка.

Я перестал писать дневник, т.е. я пишу его стихами. А что можно сказать в стихах? Многое, но не то, что в прозе. Вместо дневника — письма к вам. Вы так снисходительны, так добры, что их читаете и, может быть, утешаетесь ими; но если вы прикажете, я буду писать, о чем вам угодно. Когда я пишу, у меня рождается всегда туча мыслей, тогда как без пера в руке горизонт ума чист и ясен. У меня нет недостатка в словах. Пишу — слова льются; я смотрю, можно ли так их связать; можно, вот я и поймал мысль за хвостик. Когда пишу, я мыслю; когда мыслю, то философствую и т.д. Итак, извините меня за письма; я зато в них искренен совершенно. Да и вообще теперь, во время царствования лени, я пристрастился к длинным письмам, и тем длиннее, чем более я могу быть откровенным. Дела у меня мало, что же остается? не писать же романы? Я не умею еще. Гораздо удобнее писать письма, которых я не умею писать. <...>

Шатобриана не достал, а читаю Les confessions de Jean Rousseau — книга безнравственная, но превосходно написанная. Впрочем, не опасайтесь. Я не могу увлечься такими грубыми софизмами и навсегда останусь преданным вам учеником.

О. Иоанн Сквивский — Н.Н. Страхову

14 декабря 1845

Большое спасибо за ваши письма, я их часто прочитывал и всегда с одинаковым удовольствием. В них отразился весь ваш характер, все ваши чувства и процесс развития вашего ума. Я радуюсь всем вашим намерениям и плану ваших занятий. <...>

Я все боюсь знакомств и особенно тех, что кровь кипит при воспоминании. Многих они погубили в цвете юношества и наиболее тех, которые думали, что имеют столько твердости и разума, что победят себя или одержат победу над страстями, но они ошиблись. <...>

О плане наук не нужно думать. Над ним думали великие люди, он представлен в правилах для университета; достаточно исполнять их, чтобы быть ученым.

Книги неотменно нужны. Не было человека, который бы все умел и во всем был совершен. Они читали книги и чрез это узнали, что в какой содержится, а в случае нужды прибегали к авторам, которых держали в шкафах. Поэтому старайся понемногу заводить собственную библиотеку.

Н.Н. Страхов — о. Иоанну Сквивскому

Декабрь 1845

Пишу к вам в страшной горести: я, наконец, понял, отчего я сделался так ленив, — оттого что со мной нет вас. О! если бы вы были тут, со мною, увидели бы вы, как я был бы прилежен! Привыкнув быть всегда под руководством и оставшись вдруг на воле, я не знаю, что делать, не знаю, как и с чего начать. Да и кто будет поощрять и поддерживать меня на пути моем? К кому приду я прочитать свой урок? Мечта о славе! Блестящая мечта! Я начинаю забывать тебя. Хорошо ли это, худо ли? Худо, очень худо. Для окрыления моей мысли я решусь на дерзкий поступок и скажу вам, если успею. Как бы я обрадовался, если бы был здоров телом и душою! Если бы у меня не было золотухи и ум был свеж, как ветер летнего утра! Боже мой, Боже мой! Я готов впасть в отчаяние от сознания собственного ничтожества. Я хочу наслаждаться, да, я хочу наслаждаться всем, что есть лучшего в мире — тревогою души и тела. Но душа моя неподвижна и нема, как надмогильный камень, тело мое болезненно и имеет недостатки. Я не имею обоняния, и целый мир цветов закрыт для меня. Роза имеет для меня одинаковый запах, как и гнилая подошва. Далее, у меня нет и хорошего вкуса, всегда зависящего от обоняния; я не могу быть гастрономом и ем с одинаковым удовольствием красную смородину и репу. У меня нет даже слуха, нет уха, способного наслаждаться музыкою. У меня есть одно зре-

ние, но зрение, неспособное наслаждаться, зрение без эстетического образования, которого у меня не будет никогда. А между тем я жаден к наслаждениям, готов объесться яблоками или смородиной, готов плакать от дрянной музыки, готов... я больше ничего не скажу. Мои способности! У меня нет капли творчества, нет быстроты и живости. Пустою и туманною представляется мне перспектива будущей жизни. Неужели я буду чиновником или учителем гимназии? Неправда ли, что лучше всего наслаждаться студенческой жизнью и попробовать, между прочим, не выжмется ли из меня чего-нибудь хорошего? Нужны только деньги; но где мне достать вас, деньги? Я достану! И жизнь моя, покамест, будет легка и приятна, но никогда не будет забрызгана грязью.

Я возвращаюсь к своей одинокой жизни. Этому много способствовало то, что Нафанаил узнал о моих поздних отлучках. Потому он приказал: «Если он придет после 10 часов, запирайте ворота и не пускать его». Этого приказания я не боюсь, но боюсь, что он на меня рассердится и, пожалуй, совсем не станет пускать меня. Бог с ним! <...>

Неужели вам не жалко меня. Я ищу любви, я жажду любви, а ее нет и нет!.. О, если бы вы были подле меня. Как часто я долго не засыпаю, утомленный суетою, и думаю, и грущу... Напрасно! Ангел не прилетает, некому успокоить меня... Я один... один в целом Петербурге! И что если я буду вечно один? Душа рвется на части, как капля воды на раскаленном железе. Теперь я молод, как распуколка розана, невинен, как теленок, жив, как ртуть, беспечен, как стрекоза, и я забываю свое горе, перестаю жадать и гореть, засыпаю, просыпаюсь медленно, пью чай с сухарями... Но после, когда все это пройдет, как все проходит? Тридцать... сорок лет... карты... честолюбие... сорок пять... деньги... Аллах, аллах! кто спасет меня? Кто?.. Никто!.. Суета сует, все суета! Что пользы человеку во всем труде его, которым трудится под солнцем? Что найдет он на земле лучше вина и красавиц? Люди или бывают ничтожны, или бывают злы, а природа бесчувственна, хоть и прекрасна. На что же человеку сберегать в груди своей пламень, разжигающий душу, как трубку табаку? Кому подарит он его?.. Я не знаю... А земля стоит вовек! <...>

Вы давно уже знаете, отец Иоанн, что человек никогда не бывает удовлетворен тем, что он имеет. Уединение прелестно, я с вами согласен, но разве человек — пустынный-философ всегда бывает доволен уединением? Теперь ко мне опять воротилось представление всей прелести труда и занятий. Но как это представление несогласно с действительностью! Оно основано на воспоминании прежде испытанного удовольствия:

Но мы под прошлого туманом
То видим только, что блестит, —

как сказал я уже очень давно. Действительно, бывают минуты светлые, прекрасные, как крылья бабочки, — те минуты, когда вы, потрудившись умственно и телесно, медленно пьете кофе и еще медленнее пускаете дым из трубки. Кроме сознания труда и отдыха (сознания усладительного), перед вами проносится в светлых и туманных очерках вся жизнь ваша, и вы говорите, как древний мудрец: «Только одну заслугу я себе приписываю, что я никого не сделал несчастным», — забывая, как много вы сделали счастливых. Бывают такие минуты и у меня; только у меня, вместо воспоминаний, надежда на будущее. И можно предаться уединенной жизни всю душою и сердцем: так и было в Костроме со мною. Теперь не то. Много прелестей и в жизни разнообразной, пылкой, живой, кипящей, бешеной. И для кого эта жизнь более увлекательна, чем для меня? Воспоминания этой жизни так живы, что я не могу писать к вам. Голова кружится, и я невольно вскакиваю со стула, чтобы взглянуться в образы, летающие вокруг меня... Но, поверьте мне, никто так живо и не чувствует опасности такой жизни, как я. Я решил, и решение мое твердо — заниматься самым приятным образом. Это я надеюсь сделать с помощью

терпения и труда, в которых у меня нет недостатка, как вы уже заметили. Скажу вам откровенно, что меня часто пугает необозримость науки. Можно ли все знать? А я хочу все знать. Мне кажется, что это возможно. Примеры — Гумбольдт барон, барон Брамбеус и г. Куторга. Они многое знают и знают очень основательно. Мне хотелось бы быть чем-то вроде Брамбеуса, Кукольника и Куторги вместе. Постараюсь! Кто знает, может быть, быть таким, как они, легко. <...>

Что я буду делать праздниками? Неужели преосвященный заставит нас сидеть часто у себя. Пресмешная история? Представьте себе комнату, довольно хорошо меблированную и украшенную. В этой комнате на среднем диване и около сидят дядюшка, Федя¹ (это бывает по праздникам), еще человека 2-3. Против этого дивана сидим мы двое и смотрим на дядюшку. Дядюшка говорит и говорит — все о себе. Другие молчат, едят яблоки и груши и иногда прерывают речь похвалою им... Дядюшка говорит прекрасно, славно говорит; когда вовсе не о чем говорить, он и тогда говорит, но слушать его так часто, как мы слушаем, — просто мука. Что если на Рождество пойдут такие веселые вечера? Я буду плакать, только не от радости. Мне хотелось бы об Рождестве побывать на вечерах, на балах. Ничто так не облагораживает человека, как обхождение с дамами; это — аксиома.

Меня восхищает надежда на лето. Я буду собирать животных, насекомых, цветы и проч. Часто буду гулять по дачам знакомых... Знаете ли, что никто так пламенно не желает архиепископства преосвященному, как я. Тогда он будет принужден оставить меня одного и высылать мне деньги. Через год, через полтора... О, как долго! Впрочем, время быстро летит...

Мне еще три с половиной года быть студентом. О, как я рад! А потом за границу... тсс... какая дерзость! Действительно, мне хотелось бы ходить с тросточкой по Парижу и Лондону. Но еще более мне хотелось бы перенестись хоть на год в древние времена, в Вавилон, в Рим, в Афины. Всего более мне хотелось бы пожить в Вавилоне, роскошном, волшебном Вавилоне!..

Н.Н. Страхов — о. Иоанну Скивскому

11 января 1846

<...> *Heu! fuge crudeles terras,
fuge littus avarum. Virg.*

Мой дорогой отец Иоанн!

Вместе с вами повторяю этот стих Вергилия. Но уже поздно. Я не избежал гнева преосвященного. И в наказание мне я должен сам известить вас об этом. Из прежних писем моих, где я откровенно рассказывал вам все о себе, вы можете узнать, за что постиг меня этот гнев, и увидеть его справедливость. Очень больно для меня извещать вас об этом, но, может быть, вас утешит мое обещание вести себя впредь как можно лучше — так что через месяц или два преосвященный, как теперь, прикажет мне написать вам, что он очень доволен мною. Это обещание мое так искренно, что я сегодня же начну переводить Тацита и завтра прослушаю лишнюю лекцию в университете. Жалко, что в моем Таците вырвано почти все *de moribus Germaniae* и что, по отдаленности ходьбы, я пропустил много лекций арабского языка, как я вам о том уже писал. На праздниках, сидя постоянно дома, я перевел несколько од Горация и несколько мест *Aeneidis* Вергилия, но главным образом я с Оранским, посещавшим меня, занимались переводом *De arte poetica*. Тот перевод, который я сделал под вашим руководством, послужил мне и теперь, хотя я очень мало помнил его. Да будут благословенны классики! <...>

Недавно я, хотя и не поэт, начал настоящую Байроновскую, именно — «Араб». Мысль мне самому очень нравится, исполнение полу-

¹ Сын о. Нафанаила.

удачное. Впрочем, в некоторых местах стихи гладки, так даже, что приятель мой не заметил в них никакого размера, так они подходят к прозе естественностью. Стихи для меня и легки, и тяжелы. Легки, когда я пишу произвольно, не стесняясь мыслью, т.е. здравым смыслом; тяжелы, когда я держусь какой-нибудь стези, например, если я рассказываю правду или передаю заранее задуманное. Впрочем, первые стихи бывают часто лучше последних.

Мои занятия пришли в страшный беспорядок. Нет ничего скучнее, как заниматься одному, особенно языками. Язык есть такая вещь, которую нужно говорить, потому что язык — язык. Кому же я буду говорить один? Кому поправить, указать правило? Впрочем, нужно привыкать — заниматься одному, хотя я все еще изучаю начатки. Говорят, что книги нужно читать с пером в руках. Попробую. Но что записывать? Краткий ли очерк прочитанного, или отдельные мысли, или критику на писателя, согласие или противоречие его мнениям? Или все это вместе? Много труда, и у меня нет книг, стоящих его. Где же их найти? Более всего в ходу журналы; но разве журнальная статья стоит изучения? Тут я должен, без сомнения, руководиться авторитетом, как и везде. Потому-то я взял теперь в руки классиков, которые давно уже признаны сливками мудрости.

Хочу научиться по-гречески, чтобы переводить Гомера. Стану заниматься по-немецки и итальянски. Итальянский язык будет очень легок при знании французского и латинского. Другие науки пойдут своим порядком. В эти полгода я думаю многое сделать. Хочу = могу = $\frac{1}{2}$ сделано. Впрочем, это у других, а не у меня. У меня очень живое воображение, но мало воли. Одно не совсем заменяется другим. Но что я стану делать зимою один? Наука есть единственное наслаждение — не запрещенное, не предосудительное и бесконечно разнообразное. Я жду лета; но если иногда меня утомляет одиночество зимнего дня, как будет томить летнее! А я иногда готов разбить голову об стену для разнообразия. Вы скажете — лень! а я скажу — жажда труда и жизни! Я повеселею, когда стану ходить в университет. Завтра начнутся лекции. Боже, благослови на труд! О, зачем я не в Костроме и не с вами!

О. Иоанн Сквивский — Н.Н. Страхову

8 февраля 1846

Вы слишком много придаете значения ничтожным обстоятельствам и потому печалитесь. Но я вас не утешу, мой милый: это лишь начало несчастий, которые каждый человек должен испытать в своей жизни. <...> Вы хотите быть свободным во всем: через три года и будете. Но горе вам, если вы не победите ваши страсти в это время!.. Вы должны хорошо запечатлеть в вашем сердце ту великую истину, которой никто не оспаривал, что «от скромной молодости зависит долгая жизнь и здоровая старость». <...> Твое благородие говорит, что тебя никто не любит. Как! я первый (люблю) равно, как свою душу. Если бы кто доказал, что твое счастье начнется после моей смерти, я бы немедленно охотно умер, чтобы ты был счастлив. Ты в моей мысли ангел, и я уверен, что все тебя любят и будут любить, пока ты будешь таким невинным, как в Костроме.

Н.Н. Страхов — о. Иоанну Сквивскому

22 марта 1846

На будущий год я поступлю на казну; это будет большая радость и для меня и для преосвященного. Я уверен, он тогда совсем переменится ко мне. <...>

Недавно мне сшили летнюю шинель и я купил резиновые калоши, так что ходить легко и сухо. Я набрал себе много книг у разных лиц и завалил ими свой стол. Покамест, до экзаменов, думаю протвердить ор-

ганографию ботаники, которую не мог понять, слушая Шиховского. Потом, летом, я думаю заниматься метеорологией. Как-нибудь достану себе инструментов. Скоро, я думаю, у меня будут деньги и я на стеклянном заводе выберу несколько лучших барометрических и термометрических трубок и пришлю вам. Потом попрошу вас сделать точнейший барометр и термометр и прислать сюда. Давно уже я мечтаю об этом. Каждый день в определенные часы буду вспоминать об вас — и наблюдать.

Потом я еще думаю в особенности заняться насекомыми. Предмет очень удобный для занятия летом, в саду. Я уже собираю источники. Главный из них: *Histoire des insectes par Emil. Blanchard. 1845 an. 2 volumes, avec de planches.* Потом еще две статьи «Библиотеки для чтения» — «Пчелы» и «Зодчество насекомых»; далее прошлогодние зоологические лекции Курторги, где он говорит пространно о насекомых. Они у меня еще сохранились и записаны с неподражаемою подробностью. По части ботаники я займусь садоводством. Руководство — «Садоводство» Линдлея, перевод Шиховского, 1845 г.; надеюсь, что преосвященный мне купит его. Я завладею уголком какого-нибудь сада и разведу в нем что мне угодно; буду делать опыты, наблюдать развитие растений и проч. Кроме того, в часы отдыха буду переводить «Aeneidis» Виргилия и учиться по-немецки. Научусь плавать, биться на кулачки, фехтовать, ездить на лошади, танцевать и рисовать. Не правда ли, что занятия счастливо придуманы? Наблюдать перемены погоды, смотреть на облака и на зарю, ловить насекомых, копаться с растениями — самые летние занятия. Кроме того, есть прекраснейшие новые руководства.

Экзамен думаю держать хорошо — всего четыре предмета и полторы недели приготовления к экзамену из каждого предмета. Правда, я ленился, но я ленился еще больше перед приемным экзаменом, и тогда было вдесятеро труднее, тогда в четыре дня я должен был приготовиться из предмета и по нескольким предметам должен был сдать экзамен в один день. Предметы вот какие: 1) *физическая география* — есть записки, я всегда слушал и хорошо знаю физику; 2) *начертательная геометрия* — нетрудная наука и есть руководство; 3) *тригонометрия*, тоже и *аналитика* — есть руководство; эти науки составляют один предмет; 4) *богословие* — нечего и говорить. В июне я свободен — до 20 авг. Жду и жду лета. Но экзамен уже близко и тревожит мою мечтательную лень. <...>

Я чувствую, что надо много учиться, и не знаю, как все это сделать. Впрочем, лень уступает теперь место занятию, которое иногда наводит на меня тоску. Я один. Как бы мне хотелось быть с вами! Я был тогда счастлив... может быть, своим невежеством, или лучше незнанием о своем невежестве...

О. Иоанн Сквивский — Н.Н. Страхову

15 апреля 1846

Из писем твоих я не могу заключить, какой твое благородие избрал главный предмет, в котором желаешь быть совершенным, ибо не было человека совершенного во всех науках. Надобно избрать один предмет и в нем совершенствоваться, а прочие изучать как пособияющие первому, принципиальному. Необходимо знать все предметы, хотя и несовершенно.

Н.Н. Страхов — о. Иоанну Сквивскому

9 июля 1846

В одно прекрасное утро товарищ мой пригласил меня идти вместе с ним в Парголово, деревню, отстоящую от Петербурга верст на двадцать. Я обещал вечером явиться к нему часов в 5, и мы отправились. Надобно еще прибавить к этому, что я не спрашивался у преосвященного, надеясь, что он меня не пустит и что я незаметно ворочусь на другой день, как это иногда случалось. Прогулка наша была довольно весела: мы собрали дороною травы для изучения петербургской флоры и ловили ба-

бочек, стрекоз и жуков. После различных приключений, более или менее занимательных, приятных и неприятных, мы воротились на другой день домой, но в 10-м часу. Я остался ночевать у товарища. На другой день сходил в университет и воротился домой. О, ужас! Преосвященный все узнал, и через кого? через нашего повара Николая. Надобно вам сказать, что этот Николай — пьяница и силач с атлетическими формами, физиологического темперамента, как говорит Куторга. Однажды он вздумал распоряжаться моим табаком, и когда я запретил ему это, он, пьяный, вздумал говорить мне грубости. Тогда я сказал ему, что если он еще раз возьмет мой табак, то я ему рожу разобью (студенческое выражение). Он замолчал и донес на меня не в том, что я курю (преосвященный давно это знает), но в том, что я не ночевал две ночи и грозил ему. Когда я воротился из путешествия, мне сказали от имени преосвященного, чтобы, пока я здесь живу, я не выходил из его воли и не ходил бы в город без спросу. Из этого исключался университет. Возвращаясь оттуда, я зашел к родственникам, Липенским. Тут случилось одно происшествие и меня просили переночевать. Я — человек добрый и вместе отважный. Я согласился. Преосвященный узнал и об этом.

Вот вам рассказ самого дела; теперь нужно изложить его последствия.

После всех этих происшествий я думал, что мне придется просидеть три или четыре недели дома и потом просить прощения, что всего труднее. Я уже приготовил прекрасное расписание, чем заниматься в это время, как вдруг меня зовут к преосвященному. Одеваюсь и иду. Спрашивает, где я ночевал; я рассказываю. «Зачем ты ночевал у Липенских?» — спросил он. Я отвечал, что обещал не говорить, почему я ночевал там. «А! так ты хочешь лучше слушать Авдотью Яковлевну, а не меня? хорошо!» После нескольких вопросов, в продолжение которых преосвященный больше и больше сердился, он сказал: «Позвать Николая!» Призвали Николая. «Ты обидел его, кланяйся ему в ноги!» Это меня раздражило. «Ваше преосвященство! — отвечал я, — он сам меня обидел и должен просить у меня прощения». «Кланяйся ему в ноги, а не то худо будет!» — повторил он. Я молчал и не трогался с места. «Я приказываю тебе!» — кричал он, быстро ходя по комнате. Надобно вам сказать, что это происходило в присутствии служителей. У меня брызнули слезы. «Увольте меня от этого, — сказал я, — я не могу этого сделать». «А! так ты не хочешь делать, что я тебе велю?» «Не хочу», — отвечал я. «Помни же, что ты начал этим. Понимаешь?» Я не понял. «Понимаешь, что ты начал, не слушаясь меня?» «Понимаю», — отвечал я, хотя далеко не понимал. «Ну, так что же ты хочешь от меня?» «Я ничего не хочу от вас». «Что ты хочешь, чтобы я тебе сделал?» Я подумал и отвечал: «Я покорнейше прошу вас, позвольте мне оставить монастырь!» «А! тебе вот чего хочется! Александр! Возьми у него платье. Ты не должен этому противиться», — прибавил он, оборотясь ко мне. Я хладнокровно начал расстегивать свой сюртук. Потом преосвященный отдал следующие приказания: мне никуда не ходить; давать мне хлеб и воду; гонять моих товарищей, если они придут ко мне. Какие мудрые распоряжения! Они строго исполнялись, потому что исполнителем был Николай, который попал в большую милость у преосвященного, так что мог входить в его кабинет.

Так прошло три недели.

На четвертой неделе случились вещи гораздо невероятнее предыдущих. В одно прекрасное утро преосвященный позвал к себе Петю и чрез него предложил мне написать прошение об увольнении меня из университета с тем, чтобы отправиться в Белгород; если я захочу там поступить (обратно) *в семинарию*, то он обещает поместить меня на казенный кошт; во всех других случаях он отказывается помогать мне. Сначала я не решаясь на увольнение из университета, но потом написал прошение, думая выиграть чрез это у Нафанаила и ничего не потерять в университете, куда меня приняли бы снова. Подавая прошение, я просил (просьбы мои все-

гда были письменные, потому что он не хотел меня видеть), чтобы он позволил мне оставить монастырь. Тогда преосвященный торжественным посольством при двух человек (брата и еще чиновника) предложил мне: 1) ехать в Белгород, чтобы поступить в Харьковский университет и, если я отправлюсь, ждать от него помощи; 2) если я соглашусь на это предложение, он возвращает мне мое платье, отправляет меня на свой счет и скрывает от маменьки мою вину; 3) если я не соглашусь, он возвращает мне столько платья, сколько я заплатил из моей стипендии, и отпускает меня на все четыре стороны. После некоторого колебания я согласился ехать в Белгород, но отвечал, что я потеряю здесь стипендию в 6 руб. с. и в Харькове не буду получать этих денег каждый месяц. Преосвященный отвечал, что там у меня есть дядя Николай Никитич, который брал все на себя, кроме квартиры. Этим кончились переговоры, и я жду теперь только прогонов, чтобы лететь в Белгород, на родину.

Скажите, ради Бога, что вы думаете обо всем этом? Я ровно ничего не думаю и потому прошу вашего мнения. Я теперь занят совсем другим — сладкими мечтами о родине и о счастье. Не правда ли, что я чудесно выиграл у преосвященного то, о чем давно думал? Как бы там ни было, сообразите, какие для меня выгоды: 1) родина, 2) родные, 3) юг, 4) большая свобода, 5) новость, 6) уважение ко мне как столичному жителю. Скажите, неужели все это не стоит этого дрянного, серого, как гранит, Петербурга? Я уже с год думаю оставить его, но не было никакой возможности. Я не пишу к вам, кроме того, о всех мелких неприятностях здешней домашней моей жизни, но они ужасны, потому что падают на меня каждый Божий день. И с каким пренебрежением смотрю я теперь на здешнюю природу, на здешнее лето и здешних людей!

Я в таком восторге от одной мысли — быть в Белгороде, что готов хоть сейчас писать стихи. <...>

Н.Н. Страхов — о. Иоанну Сквивскому

1 октября 1846

Однажды — это было еще в Белгороде — я спокойно сидел в креслах, передо мною было открыто окно, в которое виден был монастырь, надо мною китайская роза распустила свои ветви; подле меня, в другом кресле, сидела моя кузина. Я ничего не делал и наслаждался. Вдруг, о mon Dieu! как говорите вы, мне приносят ваше письмо, присланное из Петербурга. Схватываю, разворачиваю, читаю; кузина смотрит через плечо... Ухожу в свою комнату и закуриваю папиросу, но это не успокоило меня; я был опечален и рассержен. Для меня было довольно странно, что вы из моего собственного письма сделали такое заключение. Я этого никак не предполагал. Я виноват *во всем!*.. Но позвольте спросить *в чем?* Прекрасно! Неужели, если бы вы были при мне, вы бы стали убеждать меня поклониться повару?.. <...>

Я поехал в Белгород. Я сделал самую ужасную глупость, в которой после раскаялся. <...> Маменьку и меня снарядили в путь обратно в Петербург. Мы приехали сюда, и тут маменька поверила всему, что я рассказывал. Нафанаил свою родную сестру принял только на третий день! В первый день нашего приезда он плакал с досады. Он хотел, чтобы мы ехали назад, но я не согласился; он грозил, и маменька по слабости своей заставляла меня ехать; я остался, и маменька благословила меня, потому что это было согласно с тайным ее желанием. Маменька уехала, а я остался на произвол судьбы. Я подал прошение в университет, но услышал, что Нафанаил не желает, чтобы я был в университете. Спустя несколько времени, по моей оплошности, мне возвратили прошение. Мой родственник Семен Илларионович Липенский, у которого я живу, просил попечителя; дело началось снова, но попечитель уехал в Псков, и я должен ждать, пока он приедет. <...>

Я не думаю, чтобы вы перестали любить любящего вас; но вы можете и не отвечать мне на мое письмо и передать все, что я написал, Нафанаилу, как вы ему обещались. Я вам буду даже очень благодарен за последнее; только прошу вас не прибавлять. В том письме вы сказали, что я не поклонился повару, *боясь унижить честь студента*; я этого не писал. Кто бы я ни был, я никогда бы этого не сделал, потому что унижение и низкопоклонничество унижает благородство души, которым всякий должен гордиться и которое должен беречь, как сокровище.

О. Иоанн Сквивский — Н.Н. Страхову

Октябрь 1846

Молодой человек! Вы обладаете большим умом, талантом, находчивостью, самолюбием, но у вас недостает практического разума. Вы не смотрите в будущее, вас занимает только настоящее и потому вы судите нехорошо о всех делах. Я вам обещал не делать более наставлений, но с другой стороны вы желаете, чтобы я доказал справедливость моего мнения, поэтому я решил написать вам в последний раз.

Вы желаете знать, в чем вы виноваты? Я вам отвечаю: 1) Ходить и не ночевать две ночи молодому человеку без ведома — похвально ли? Похвалит ли это начальство университета? Ей, не похвалит. 2) Не сказать своему благодетелю, почему ночевал у родных, — означает, что там было что-то худое. 3) Правда, что со стороны преосвященного было много уже — приказывать снимать одежду и кланяться в ноги повару, но то уже было следствием раздражения и род наказания. Но в таком случае я бы поклонился самому преосвященному и сказал, что я вам должен кланяться, ибо вы мой благодетель, а от поклона повару прошу милостиво меня уволить. Кланяться в ноги архиерею не стыдно; были времена, что сами цари кланялись папам. Что же папа — не архиерей ли, как и другие? Когда бы я находился в то время, я бы сам поклонился в ноги за тебя. 4) Но наибольшая вина в том, почему при выезде из Петербурга не просил прощения? Надобно было сказать: «Благодарю вас за ваши милости и прошу всепокорнейше прощения в моей молодости за огорчения, которые вам причинил. Вот бы и конец был всему и в Белгород не ехал бы.

Н.Н. Страхов — о. Иоанну Сквивскому

28 октября 1846

Я снова принят в студенты! Я свободен, как птица, и, как птица, найду средства для существования; студент не пропадет! Я буду учиться, сколько будет сил, и если меня не пошлют за границу, я буду держать на магистра сперва, — и все-таки поеду за границу, потому что это — моя единственная мечта: я буду путешествовать!

О. Иоанн Сквивский — Н.Н. Страхову

15 ноября 1846

Тем не менее я осмелюсь в последний раз еще потревожить вас. Вы доказываете, что вы невиновны. Отлично, я в восхищении от этого; но предположим, что вы совсем безвинный, а все знают, что вы племянник епископа и что вы с ним в ссоре. Отсюда следует, что если вы невиновны, то ваш дядя должен быть неблагородным человеком, который обвиняет только других. Но прилично ли молодому человеку порицать дядю, и это ли благодарность по отношению к тому, который вас воспитал и любит, как отец, и который составляет гордость всей вашей фамилии. Вы жили у Нафанаила восемь лет. Как вы думаете, сколько за это время на вас израсходовано? Допустим, что он расходовал на вас 200 руб. ежегодно: это составит за восемь лет 1600 руб., и вы говорите, что он сделал вам больше зла, чем добра?! Как вы несправедливы! Он мне писал, что пришлет вашей матушке денег на ваше содержание в Харькове, а вы говорите, что он вас не любит! Кто же станет делать

вам добро, если вы так неблагодарны по отношению к вашему дяде, который вас воспитал? Стыдитесь, мой милый! Это — гадко, что вы сердитесь так долго; это — признак жестокосердия. Неужели вы желаете, чтобы сам епископ просил у вас прощения? Это просто невозможно. Итак, надо вам просить прощения у него, и вы должны *всякий* праздник писать к нему письмо, в котором должны благодарить за его благодеяния и просить одновременно не сердиться на вас. Вы не будете просить его о помощи и, таким образом, мир мало-помалу между вами восстановится. Я его просил, чтобы он вас простил как молодого человека, — понятно, если вы будете его просить об этом. Вот мой последний совет.

Между тем нужно стараться, как я давно советовал, перейти на казенное содержание в институте, а то будешь непокоен. Впрочем, ты сам лучше знаешь.

Н. Н. Страхов — о. Иоанну Сквивскому

3 января 1847

Здесь я сделаю маленькое замечание обо всех семинаристах. Они чрезвычайно любят диалектику и во всю жизнь остаются схоластиками. Нафанаил великий софист, верящий в свои софизмы. После всего этого он сказал, что простит меня через год, когда увидит, что я и проч.

Гораздо любопытнее другой разговор Нафанаила с Петей. «Я хочу, — начал он, — искоренить в вас наследственный порок — гордость. Отец ваш погиб от нее. Я потому и выбрал такое наказание Николе, что для человека гордого нет ничего хуже, как унизиться перед человеком низшим его. И попечитель, которому я это объяснил, сказал, что сделал прекрасно. «Николя, — сказал в заключение Нафанаил, — будет писать ко мне еще не такие письма. Он будет со слезами просить меня. *Нищета мужа смиряет*, говорит Священное Писание». Не правда ли, какой мудрый и глубокий план составил Нафанаил для достижения цели?..

Простите меня, что я перебрался на другую страницу: не выдержал! Писать к вам составляет такое удовольствие, от которого я не в силах отказаться. Теперь я имею отдельную комнату и надеюсь, что это много будет благоприятствовать моим занятиям. Я вам, кажется, еще не писал, что мои обстоятельства значительно поправились. Я даю уроки три или четыре раза в неделю за 12 целковых в месяц. Эти самые 12 руб. с. я плачу за мою новую квартиру на всем готовом. <...>

Я обещал поговорить с вами о новых открытиях и не знаю, как сдержу свое слово. В 1845 году была открыта между маленькими планетами — Церерою, Палладою, Юноною и Вестою еще пятая планета — Астрея. Вероятно, вы уже знаете об этом. В прошлом 1846 году астроном Леверье во Франции вычислил, по изменениям пути Урана, величину, путь и время обращения планеты, которая, по предположению, производит эти изменения. Он назначил точку неба, где она должна была находиться, но в Париже, по слабости инструментов, никакой планеты там не нашли. В Берлине и у нас на Пулковской обсерватории увидели новую планету. Но Леверье ошибся полградусом. Имя новой планеты — Нептун, обращающийся около Солнца в 217 лет. Здесь, в Петербурге, много наделало шуму открытие нового пороха — из хлопчатой бумаги, смачиваемой азотной кислотой и потом высушиваемой. Он производит взрыв без дыму, без запаху и не с таким сильным звуком. У нас делали опыты очень успешные. Такой же порох делают из пеньки. После взрыва нет никакого остатка.

Но интереснее и любопытнее всех открытий для меня — лекции Ленца. Он прочел нам оптику и потом начал разбирать теории ее. В связи с этим разбором и с опытами он объяснил нам явление интерференции, дифракции и поляризации света. Он держится теории волнения и излагает ее превосходно. Его лекции в тысячу раз увеличили в моих глазах интерес физики, который я чувствовал при первоначальном ее изучении.

Недавно я сделал также важное открытие. Случайно я зашел на лекцию Плетнева, и ничто не может сравниться с тем впечатлением, которое на меня произвела его лекция. Он читает историю русской литературы, и читает увлекательно. Вообще, у нас есть много прекрасных профессоров, которых стоит слушать. Оба Куторги, Ленц, Плетнев — светила нашего университета. <...>

О. Иоанн Скивский — Н.Н. Страхову

3 июня 1847

Я думаю, что писать краткую историю для детей еще не время твоему благородию. Для этого дела сочинитель нужен опытный. Очевидно, надобно опускать много исторических приключений в подобном сочинении и выбирать такие только, которые бы могли учить молодежь худыми и добрыми примерами, а это для молодого сочинителя всего труднее. Карамзин мог бы написать полезное в этом роде сочинение. Напечатать прежде что-нибудь легкое, а потом возмись и за трудное.

Ты обещаешь писать много; но я прошу, не пиши много. Главное, чтобы письмо было подобно прудику, полному рыбы, а не реке, в которой нелегко поймашь что-либо. Дорожи временем, потому что время дорого для молодого человека.

Н.Н. Страхов — о. Иоанну Скивскому

23 июня 1847

Я не исполнил ваших надежд на меня, и если бы вы посмотрели теперь на меня, вы удивились бы перемене, которая произошла во мне. Я уже не тот живой, свежий мальчик, каким вы меня знали. Я сделался тяжелым, молчаливым, неповоротливым. Мне кажется, что мои способности тупеют и ум слабеет более и более. Вместо той ревности и быстроты в занятиях, какая была у меня в Костроме, наступило какое-то утомление и бессилие; я так долго учусь и так мало выучиваю. В эту вакацию я задумал повторить основания моего учения, заняться языками и математикой, а между тем я ничего не успеваю сделать, несмотря на то, что постоянно занимаюсь. Мне кажется, что я потерял в вас незаменимого наставника; мне кажется, что я еще не способен заниматься сам, без чужой помощи. Грустные и тяжелые мысли находят на меня. Я как будто сбился с дороги, как будто потерял цель, к которой должен был идти. Какой-то хаос в моих познаниях. Я жадно схватываюсь за каждое знание, но когда я занимаюсь всем вместе и ничем в особенности, то я мало успеваю; я, кажется, не подвигаюсь ни на шаг вперед. Недавно я достал роман Жоржа Занда, у которого, по сознанию всех, самый чистый, самый прекрасный слог. Три года я уже не вижу с вами, а между тем я с трудом и усилием перевожу его и в некоторых местах не понимаю. Много же я сделал в эти три года! Я беспечен и неподвижен, но эти мысли отравляют каждый мой труд, удовольствие, которое должно быть для меня самым высоким. Где мне найти поддержку, одобрение? Не знаю. Я один.

Я познакомился с Плещеевым, нынешним поэтом, и Некрасовым — журналистом. Пока я не буду в состоянии сам писать, я просил их о переводах, и они оба мне обещали. Не знаю, исполнят ли они свое обещание и исполню ли я этот труд.

Чем больше я занимаюсь, тем больше падаю, тем больше чувствую свое бессилие и не знаю, куда поведет меня это.

На степень нельзя держать иначе, как через четыре года. Я не держал экзамена, потому что чувствовал, что выдержу его плохо, да и потому, что некогда было. На следующий год я буду писать рассуждение на медаль. За границу посылают не каждый год, и то одного человека.

Я бы очень желал прочесть мои письма. Я никогда не скрывал перед вами ничего. В этих письмах вся моя история, бедная и пустая, история всегдашних стремлений и бесплодной деятельности.